

Мемуары

Луиза Мишель

Contents

От редакции	3
I	3
II	4
III	6
***	7
IV	8
***	10

От редакции

«Мемуары», написанные знаменитой анархисткой Луизой Мишель, носят в подлиннике весьма отрывочный характер. В своем рассказе Мишель часто не считается с хронологической последовательностью, делает пространные отступления, пересыпает страницы своих мемуаров своими стихотворениями, не имеющими ни исторической, ни литературной ценности.

Мы сочли уместным опустить эти, не представляющие интереса или значения, страницы.

Таким образом, напечатанный здесь перевод дается в сильно сокращенном виде.

I

Меня часто просили написать мои мемуары. Но всегда, когда мне предстояло поговорить о себе, я испытывала отталкивающее чувство, подобное тому, как если бы мне предложили публично раздеваться.

Несмотря на это ребяческое и странное чувство, я решаюсь собрать теперь несколько воспоминаний.

Постараюсь, чтобы они не слишком были проникнуты грустью.

Моя жизнь состоит из двух периодов, совершенно различных по характеру и представляющих полный контраст. Первый – период учения и грез; второй – исполненный событий, период борьбы.

Я буду по возможности менее примешивать к моему изложению имена лиц, издавна потерянных из виду, чтоб не навлечь на них неприятной неожиданности быть обвиненными в сочувствии революционерам.

Кто знает, — может быть, иные лица поставят им в вину знакомство со мною и будут считать их анархистами, не зная толком, что это слово значит. Моя жизнь полна мучительных воспоминаний; порядок их в моем рассказе будет часто случайным в зависимости от того или иного впечатления. И если я беру для моей мысли и моего пера право странствия, то – вы будете должны согласиться – я дорого заплатила за это.

Признаюсь, что здесь будет дано место и чувству. Мы, женщины и не думаем вырвать сердце из нашей груди; мы считаем человеческое существо и так достаточно несовершенным. Мы предпочитаем жить и страдать чувством так же хорошо, как и умом.

И если в эти страницы проскользнет немного горечи, то никогда не попадет сюда злоба. Я ненавижу гнусные рамки, в которые бросают нас вековые ошибки и предрассудки, но я мало верю в ответственность. Человеческая раса не виновна в том, что ее вечно месят по образу одного несчастного типа, и что, подобно зверям, мы пожираем друг друга в борьбе за существование.

Когда все силы обратятся против препятствий, стоящих на пути человечества, оно минует и оставляет позади бури.

При нашей неустанной борьбе, человек не может быть свободным...

Но я пишу мои мемуары, и надо начать говорить о себе. Я буду говорить смело и откровенно относительно всего, что касается меня лично, оставляя тех, кто меня воспитал и вырастил, в той тени, которую они любили.

Военный суд в 1871 году кропотливо шарил и рылся даже в глубине моей колыбели, но пощадил их. И уж я, наверное, не стану тревожить покой их праха.

Сырость истерла их имена на кладбищенских плитах; старый замок был разрушен. Но я снова вижу гнездо моего детства и вижу, как те, кто вырастили меня, часто склоняются надо мной; — часто будут встречаться они в этой книге.

Увы! От воспоминания об умерших, убегающей мысли, отходящего дня, — не остается ничего!

Ничего, кроме сознания исполненного долга и сурово прожитой жизни.

Но зачем скорбеть о самой себе посреди общих гостей? Зачем останавливаться над каплей воды? Смотрите на океан!

Я хотела, чтоб мои три приговора были приложены к этим мемуарам.

Для нас каждый приговор является знаменем. Пусть оно покроет мою книгу, как осенило мою жизнь и как будет развиваться над моим гробом.

II

Гнездо, в котором протекло мое детство, было обширной старой развалиной с четырьмя башнями, похожей на мавзолей или крепость.

Эта развалина находилась на краю небольшой деревушки с одной единственной улицей.

Часто, во время снежных заносов, из ближнего леса забегали через трещины стены волки и выли у нас на дворе. Собаки, бесясь, отвечали им, и этот концерт продолжался до утра.

Я любила эти ночи, особенно, когда северный ветер сильно бушевал, и вся семья, собравшись в высокой, холодной зале, занималась чтением.

В громадных залах стоял леденящий холод, и мы все придвигались близко к огню.

Тут же размещались наши собаки и целый легион кошек и котов.

Часто приходили знакомые и друзья, и вечер затягивался. Меня посылали спать, чтоб окончить главы, которых не читали целиком в моем присутствии.

В этих случаях я или отказывалась наотрез (и почти всегда выигрывала мой процесс), или, желая услышать то, что хотели от меня скрыть, повиновалась, но оставалась стоять за дверью, заместо того, чтоб ложиться в кровать.

Летом развалина наполнялась птицами, которые влетали через окна; но это не были единственные сотоварищи собак и кошек. Тут были и куропатки, черепахи, кабаны, волки, совы, летучие мыши и т. д. и т. д. Потом куры, козы, коровы. Все эти животные и птицы жили в добром согласии. Кошки не трогали мышей, а мыши в свою очередь вели себя отлично, не дотрагиваясь своими зубами до книг, тетрадей, скрипок, гитар, которые валялись повсюду.

Какой мир царил в нашем жилище и во всей моей жизни в эту эпоху!

Еще ребенком я начала писать «Всеобщую Историю». Наверное, немало отчаянных глупостей было в моей работе. Я перечла уже довольно много книг, но мне дали

несколько томов Вольтера, и я бросила мое неоконченное произведение вместе с моей "большой поэмой".

Окончить эту ужасную поэму мне помешал зуб мамонта, о котором мне рассказывал с энтузиазмом наш знакомый доктор Ломон. Я бросила поэзию и устроила на верхушке скверной башни клетку, наполненную всем, что могло бы сойти за геологические находки.

Я собрала туда совсем свежие скелеты собак, кошек, найденные в поле черепа лошадей, плавильники, один горн, треножник, и черт знает, чем только я не занималась там: и алхимией, и астрологией и заклинаниями.

Там же находилась и моя «лютня» — ужасный инструмент, который я собственноручно сделала из сосновой дощечки и старых струн от гитары.

С этим-то варварским инструментом я обращалась к Виктору Гюго с высокопарными стихами. И он никогда не узнал, что представляла собой эта «лютня поэта», эта «лира», «самые нежные аккорды» которой я посылала ему.

В детстве я очень много читала. Вместе с двумя моими подругами, сидя в высокой траве, перечитывали мы старые журналы, сочинения Гюго, Ламартина, старичка Корнеля и т. д.

Мне было, пожалуй, шесть или семь лет, когда мы заливались слезами над книгой Ламенне «Слова верующего».

И начиная с этого дня, я стала принадлежать толпе. С этого дня я стала подниматься от этапа к этапу, пройдя через век видоизменения мысли, от Ламенне и до анархии. Я никогда не видела детей в одно и то же время столь серьезных и таких сумасшедших, таких дурных и так опасующихся причинить кому-либо зло, как мой двоюродный брат Юлий и я.

Мой кузен приезжал каждый год на вакации вместе с матерью.

Я удивляюсь теперь содержанию тех разнообразных вопросов, которые мы обсуждали тогда. Мы взбирались обыкновенно на два дерева и таким образом беседовали друг с другом. Это было наше любимое положение.

Однажды, когда мы переговаривались с одного дерева на другое, Юлий признался мне, что он отправил весьма нежное послание знаменитой писательнице Жорж Занд, но не получил ответа.

Мы решили оба обратить наши лютни на воспевание других сюжетов. Но однажды, во время бурного спора на тему о «равенстве полов», Юлий заявил, что, если я и поняла что-либо в его книгах, которые он привез с собою на вакации, то только потому, что я представляю собой «аномалию». И в пылу сражения наши лютни, которые служили нам метательными снарядами, были разбиты.

На дворе, за колодцем были навалены кучи хворосту и веток. Все это служило нам для устройства эшафота со ступенями, площадкой и двумя большими деревянными подставками. Здесь мы воспроизводили целые исторические эпохи и тех действующих лиц, которые нам нравились. Мы переделали 93-й год в драму и всходили один за другим по ступенькам нашего эшафота, где становились с криком: «Да здравствует Республика!»

Много картин из моего прошлого проносятся сейчас предо мной. Чем дальше я подвигаюсь с моим рассказом, тем теснее обступают меня образы тех, кого я не увижу больше никогда.

III

Когда смерть спустилась на наш дом, и опустел наш семейный очаг; когда те, кто вырастили меня, уснули под соснами кладбища, для меня началось приготовление к экзаменам на учительницу.

В 1851 году я с матерью, проводила вакации у моих родственников в окрестностях Ланьи.

Там, мой дядя, недолголюбивавший моих писаний и опасавшийся, чтоб я не оставила своих экзаменов для поэзии, поместил меня в пансион г-жи Дюваль в Ланьи; я оставалась там около трех месяцев.

Я думала, продолжая свои занятия, устроиться в Париже в качестве помощницы учительницы. Но то не хотела расставаться с моей матерью и осталась вместе с ней на родине.

Вот почему в январе 1853 года я начала карьеру учительницы в Оделонкуре, где жила часть нашей семьи со стороны матери. Здесь я открыла школу. Несмотря на доносы нескольких дураков о моих политических убеждениях, дела моей школы шли прекрасно, тем более, что я отдавалась своему делу с усердием юности.

«Друзья порядка», которые почему-то занялись мной, называли меня «красной», т. е. республиканкой. Ставилось мне в вину и то, что я намерена была переселиться в Париж.

Эти обвинения были совершенно справедливы: Париж, который, во время короткого посещения, мне удалось едва осмотреть, не повидав еще чудес о которых мне рассказывали, меня притягивал. Только там можно было бороться с Империей.

Доносы, нарушавшие покой моей бедной матери, заставили меня уезжать в Шомон, где я проводила дня два под предлогом дел.

Я отправлялась к ректору академии Файе и объяснялась по поводу доносов, заявляя, что все это правда, что я желала бы уехать в Париж, что я республиканка и т. д. Но говоря о занятиях — моей страсти, которая звала меня в Париж, о республике, о моих симпатиях, я раскрывала ему свое сердце.

Ректор долго молча смотрел на меня, а жена его, которая всегда становилась на мою сторону, улыбалась, в то время как голуби летали на свободе по комнате, залитой солнцем.

В моей оделонкурской школе, утром, пред началом и после занятий ученики пели марсельезу.

Строфу:

Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n'y seront plus

мы пели, стоя на коленях. И часто во время пения глаза детей и мои наполнялись слезами. Я послала, между прочим, несколько фельетонов в шомонские газеты.

Извлекаю из этих фельетонов одну фразу, которая навлекла на меня обвинение в дерзостном неуважении к Его Величеству Императору — обвинение, вообще говоря, весьма заслуженное, которое можно было основать и на многих других фразах.

Фельетон этот, история убийств, начинался так:

«Домициан царствовал; он изгнал из Рима философов и ученых, увеличил оклады преторианцев, восстановил капитолийские игры, — и век восхваляли милосердного императора, с нетерпением ожидая, когда его убьют. Апофеоз одних был раньше, других — позже, вот и все».

Меня потребовали к префекту, который заявил мне: «Вы поступили дерзостно по отношению к Его Величеству Императору, сравнив его с Дамицианом, и, если бы вы не были так молоды, мы были бы вправе сослать вас в Кайену».

Я ответила, что те, кто узнал г. Бонапарта в портрете Домициана, оскорбляют его в такой же мере, но что в действительности его-то я и имела в виду. Я прибавила, что, касательно Кайены, мне было бы очень приятно устроить там воспитательный дом. А так как у меня самой нет на расходы по поездке, то все это, наоборот, доставит мне большое удовольствие.

На том дело и кончилось!

Несколько времени спустя, ко мне явился какой-то господин, имевший просьбу к префекту. Он заявил мне: «Говорят, что вы были у префекта, дайте мне рекомендацию».

Я объяснила ему, что меня звали в префектуру только для того, чтоб судить и пригрозить

Кайеной, и что моя рекомендация не сможет быть ему полезной, а наоборот. Но комичный господин не слушал ничего и стоял на своем.

Тогда я написала письмо приблизительно следующего содержания:

М. Г. г-н префект!

Лицо, которому вам угодно было посулить путешествие в Кайену, осаждается просьбами г. Х. дать ему к вам рекомендательное письмо. Никак не могла заставить его понять, что это средство может привести только к тому, что его выкинут за дверь. Он уперся как осел.*

Ну, как ему внушить, что я имею основание отказываться!

Благоволите, господин префекта, не забыть для меня обещанного путешествия.

Когда я увидела моего господина после возвращения его из поездки в Шомон, я, признаюсь, смеялась уже над тем, как он будет рассказывать о своих неудачах. Но, к великому моему изумлению, он сказал мне: Вот видите, я знал раньше... вам везет... мое дело в шляпе.

Около 1865 года я переселилась в Париж. Здесь и заняла место помощницы учительницы в школе, г-жи Волие, в Монмартрском квартале. Жалование было очень скудное, и мне приходилось после классов давать частные уроки музыки.

Весь свой излишек я тратила на книги. Все свободное время — на беседы с друзьями и чтение.

Несколько раз посылала я свои стихотворения Виктору Гюго, который находился тогда в изгнании. Еще в детстве я отправила ему как-то несколько стихов. Но тогда как содержание тех соответствовало моему возрасту, теперь от моих стихов пахло порохом.

Поместила несколько статей в различных изданиях.

Между прочим, я задумала оперу с фантастической постановкой и грандиозным оркестром (одних скрипок должно было быть двадцать). Но все эти мечты были скоро оставлены. Революция подымалась! Кому нужны были драмы? Настоящая драма разыгрывалась на улицах. Зачем оркестры? У нас была сталь и пушки.

В глубине моего возмущения против сильных я нахожу в своих самых далеких воспоминаниях ужас пред мучениями, которые причиняют животным.

Я б хотела, чтоб животное мстило, чтоб собака укусила того, кто ее ударил, чтоб лошадь, окровавленная ударами бича, вывернула своего палача.

Чем более жесток по отношению к животному человек, тем более пресмыкается он пред людьми, имеющими над ним власть.

С тех пор, как я увидела жестокости, которые проделываются над животными в деревнях, и ужасный вид их мучений, — с тех пор, вместе с жалостью к ним, я поняла, что такое преступление силы.

Так поступают со своими народами те, кто властвует над ними. Эта мысль должна была явиться у меня.

Все существа, от одного края земли до другого стонут в тисках; всюду сильный душил слабого.

И какова бы не была жалость, сжимающая сердце, необходимо, чтоб существа, приносящие вред, исчезли. Если в детстве я просила помилования для животных, которых собирались убить, — то теперь я не стану просить прощения для известных людей, оказывающихся еще худшими, чем волки, по отношению к человечеству.

Что же касается тех, кто, как например деспоты, олицетворяют собою рабство и смерть наций, то по отношению к ним я буду столько же колебаться или обноваться, как если б я убрала с дороги опасную западню.

Таким будет всегда, если придет случай, мое чувство.

IV

Я и мои подруги по школьному делу — мы часто собирались вместе: читали, занимались или предавались мечтам о будущем.

Это было за 5 — 6 лет до осады; наша улица представляла собой посреди императорского Парижа расчищенное убежище для свободной мысли. Нередко в школе, уроки истории прерывались Марсельезой, и в воздухе пахло порохом.

Всеми нами овладела страстная жажда знаний; все свободное от собственных уроков время мы посвящали занятиям, сами ходили на лекции и часто засиживались до глубокой ночи.

В этот период моей жизни мне не раз приходилось возвращаться домой поздно ночью. Я встречалась с наглыми ворами, бандитами и проститутками и говорила с ними. Сколько я насмотрелась тогда, и сколько изумительных вещей они рассказали мне. Вы думаете, что люди являются на свет с раскрытым ножом, готовые всадить его кому-нибудь в бок, — или с билетом в руке, чтоб продаваться? На свет не являются и со свинцовой палкой, чтоб быть сыщиком, или с министерскими портфелями, чтоб быть опьяненным властью и тащить народы к гибели.

Нет такого бандита, который не мог бы быть честным человеком! И нет честного человека, который не был бы способен совершить преступление среди того ада, в который бросают людей предрассудки проклятого старого мира!..

Но среди всех наших занятий мы чувствовали уже очень близко веяние грядущей драмы, которая должна была разыграться на улицах, истинной драмы человечества. Военные клики германцев предвещали наступление новой эпопеи.

Наступал конец империи; новые идеи зарождались, росли, подобно факелу, разбрасывали искры и огонь. Война еще не была видна. Она вспыхнула, чтоб на груди трупов укрепить положение Бонапарта.

Все чаще и чаще происходили среди бела дня собрания; возмущение подымалось с низин земли в стремлении к великому солнцу.

Но война не могла захватить население, несмотря на увлечения королевской банды; надо было развязать крылья Марсельезы, чтоб опьянить народ.

В это время моя мать гостила в Париже. Мне не хотелось тревожить ее, и я сказала, что ни в чем активно не участвую. Однажды, двое из моих подруг пришли за мной, чтоб вместе отправиться на собрание: они ждали меня на улице, чтоб не внушить подозрений моей матери.

- Но это невозможно, говорила бедная женщина, чтоб ты ходила так поздно давать уроки!

- За мной прислала подруга. — Но она выглянула в окно.

- Я так и знала, сказала она, что это ваши собрания!

Собрания эти устраивались обыкновенно в окрестностях Парижа.

О чем только мы не говорили, возвращаясь по тропинкам через поля! Иной раз, все молчали, как бы опьяненные идеей, которая воодушевляла нас.

О, мои друзья, мне кажется, мы все были немножко поэтами! Мы много страдали, но за то и видели много хороших вещей!

...Увы, — в Париже, который содрогался от преступлений Империи, в Париже, который должен был кликнуть клич: Да здравствует Республика! — воцарилось глубокое молчание.

Все ставни закрылись, бульвары опустели, и вокруг повозки с пленными Эдом и Бридо кричали: «На пруссаков!»

Когда наши друзья были осуждены на смерть за то, что хотели провозгласить Республику до того, как Бонапарт окончил свое дело, было поручено нам, Андрэ Лео, Адели Эскирос и мне доставить Трошю протест, покрытый тысячами подписей.

Большее число этих подписей было дано под впечатлением негодования; два или три листа из находившихся в моем ведении, у меня потребовали обратно под предлогом того, что в таком деле рисковали головой; эти робкие люди передумали.

Но разве здесь не шло дело о головах наших друзей? Признаюсь, что я отказалась вычеркнуть эти две, три подписи.

— Ничего, говорила я им, тем лучше, — мы пойдем с ними за компанию.

Попасть к генералу Трошю было делом далеко не легким.

После того, как мы чуть ли не приступом взяли переднюю, нас хотели заставить уйти, не повидав парижского губернатора. Слова: «Мы явились от имени народа» звучали довольно скверно в этом месте.

В ответ на приглашение удалиться, мы уселись на скамейке возле стены, заявив, что мы не уйдем, не получив ответа.

Секретарю надоело, однако, наше настойчивое ожидание, и он отправился доложить Трошю. Зашел генерал и, взвешивая на руке толстую тетрадь, покрытую подписями (что его видимо, беспокоило), объявил нам, что, принимая во внимание количество, подписи эти будут приняты в соображение.

Обещание это стоило бы очень мало, если б Империя не была разрушена. Нежданная неудача с Седаном опрокинула на землю этот подгнивший труп.

31 октября в Городской Думе была провозглашена Коммуна.

Флюранс положил свою жизнь на аванпостах Коммуны. Версаль убил его, эту благородную личность, заманив в засаду.

Кто же виновен в том, что мы были неумолимы в наступившей борьбе?

19 января согласились, наконец, дать возможность национальной гвардии попытаться взять обратно Монтрету и Бюзенваль.

Сначала крепости были взяты; но люди, вязнувшие по колена в рыхлой земле, не могли ввести на валы орудия, и пришлось отступить.

Там, не жалея жизни, сотнями легли национальные гвардейцы: сыны народа, артисты, молодые люди. Земля наполнилась кровью этой первой парижской гекатомбы; много еще другой крови пришлось ей испить.

Париж не хотел сдаваться.

22 января громадная толпа народа собралась перед Hotel de Ville, где командовал Шодей.

Желая оставить за манифестацией ее мирный характер, который, впрочем, кончается всегда топтанием толпы, все вооруженные удалились.

Когда осталось только безоружное большинство, из окон, в которых виднелись бледные лица бретонцев, упал на площадь небольшой шум как бы града. На площади образовались просеки. Гамбон произносит речь, в которой утверждает, что Коммуна живет в сердцах народа, и что Франция будет всегда идти впереди революции.

Он восхваляет Жанну д'Арк, жертву неблагодарности короля, и говорит, что Луиза Мишель сделалась жертвой неблагодарности Республики.

Слово предоставляется Луизе Мишель:

Будем надеяться, сказала она, что мы не увидим больше Парижа залитым ручьями крови. В тот день, когда все, кто преследовал Коммуну, не будут

жить, — мы будем отомщены; и в тот же день, когда господа Галифе и им подобные будут лишены власти, мы заслужим благодарность народа.

Нам не нужно больше кровавой мести: с нас будет достаточно стыда этих людей.

Мы принимаем овации, которых удостоились, как относящиеся не к нам лично, а к Коммуне и ее защитникам...

И мы примем тех, кто захочет идти вместе с нами, хотя бы они и были когда-то против нас, — к триумфу Революции.

Да здравствует социальная Революция! Да здравствуют нигилисты!

Эти клики были повторены собранием вместе с кликами: «Да здравствует Тринке! Да здравствует Пиа! Да здравствует Коммуна»!

6 декабря. — Вчера, в зале Граффар состоялось частное собрание в пользу амнистированных.

Гражданин Жерар благодарит Луизу Мишель за согласие участвовать в этом собрании; он приветствует в ней «принцип ненависти, который один только создает великих революционеров и великие акты».

Он подносит ей два букета. Луиза Мишель отвечает, что принимает их от имени социальной Революции и от имени женщин, которые боролись за свою эмансипацию:

Да, я приветствую здесь народ, продолжает гражданка Мишель, и в его лице социальную Революцию (Аплодисменты и крики: "Да здравствует Коммуна").

То время, когда расстреливали в Сатори, встает теперь снова пред нашими глазами; мы видим еще людей, которые нас судили, убийц и палачей.

Эти люди, которые, казалось, исчезли навсегда, появляются снова с головой, поднятой еще выше, чем раньше!

Реакция—это труп, поднятый правительством: но эта рептилия будет раздавлена, как только столкнется с нами.

Сам народ, пока еще закованный и влачащий свои цепи, освободит нас от этих людей и сам отвоюет свои свободы.

Я оставалась всегда верной начертанной мной программе; она стоила мне жизни моей матери, моей бедной, дорогой матери.

Когда уже и я буду спать под сенью красных и черных знамен?

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Луиза Мишель
Мемуары

Свобода и труд. Анархизм и синдикализм. Сб. 1. — СПб. : Волна, 1907.

ru.theanarchistlibrary.org